



ЗАХАР
ПРИЛЕПИН

Собаки

и другие люди

НОВАЯ ПРОЗА

Захар Прилепин: лучшее

Захар Прилепин
Собаки и другие люди

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)

Прилепин З.

Собаки и другие люди / З. Прилепин — «Издательство АСТ»,
2023 — (Захар Прилепин: лучшее)

ISBN 978-5-17-159439-8

Семь разнообразных собак, рыжий кот, попугай и обаятельные деревенские жители – главные герои этой книги: то уморительно смешной, то немного печальной. Но и печаль эта – тепла и человечна. ...Такого Захара Прилепина вы ещё не знали. Невероятно доброе и нежное повествование о любви и преданности. О братьях наших меньших, преподающих нам удивительные уроки. О том, что боль – преодолима, а жизнь – удивительна. Особенно – с такими невероятными друзьями.

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-17-159439-8

© Прилепин З., 2023

© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Праздники святого Бернара	6
Дебрь	20
Грехопаденье Шмеля	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Захар Прилепин

Собаки и другие люди

Памяти

*Саши «Злого» Шубина,
ангела нашей семьи.*

© Захар Прилепин, текст

© Вадим Солодкий, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

Праздники святого Бернара

Отряхивая налипший снег и притоптывая, раскрыл дверь в свою городскую квартиру – и тут же увидел его.

Он жил у нас третий день.

Меня носило по городам, и семья умолчала о появлении нового жильца – щенка сенбернара, который не имел ещё тогда имени: оно пока не приходило.

Щенок лежал посреди квадратной, с высокими потолками, прихожей.

Он уже пересчитал всех домашних и обжился, а тут я – большой, пахнущий холодом, накрутивший на свою шубу сорок дорог.

Заскользив и расплзаясь в стороны неловкими ещё лапами, он поспешно отбежал в угол, где, усевшись спиной к стене, уставился на меня: «Ты кто?».

– Это что ещё за шмель? – спросил я, не сдержав улыбки.

Он был пушистый и чуть нелепый, как шмель: рыжий, летний, безобидный.

Я полюбил его с первого взгляда.

– Шмель! – закричали дети. – Шмель!

Так у него появилось имя.

* * *

Вскоре мы приняли волевое решение: отправиться жить в деревню, где у нас имелся двухэтажный, насуспенный, скрипучий домик на покосившемся фундаменте – зато с настоящей печью.

Шмель, помнится, лежал поверх огромных тюков и сумок в багажнике нашей большой вездеходной машины, растерянно глядя в затылки детям и ожидая, когда к нему обернутся: я видел зовущее выражение его глаз в зеркале заднего вида. Время от времени он предпринимал решительную попытку перебраться к людям на задние сиденья, но его весело загоняли детскими ладошками на место.

Добравшись, мы долго таскали эти тюки, наполняя старые шкафы новой жизнью, а Шмель носился туда-сюда, громко топоча по полу и ликуя обилию застарелых, добрых, терпких запахов.

На следующее по приезду утро, усадив детей в машину, взметая снега и разногласия крича на ухабах, мы прорвались вглубь сияющего, как накрытый для самого долгожданного гостя стол, леса.

Раскрыли багажник и вынесли его, нетерпеливого и оглушённого счастьем. Даже щенком он был увесистым парнем.

Небосвод обрушился на него всей своей торжественной благодатью.

Я бережно поставил его в снег – и он тут же, вшибаясь грудью в сугробы, неистово устремился вперёд. Прыгая, всякий раз утопал до самого носа. Это удивляло его – но, собравшись, он тут же делал новый рывок.

Так выглядит счастье: маленький Шмель на лесной поляне под хохот детей пытается преодолеть сопротивление ослепительно снежного мироздания.

* * *

Наискосок от нас жил старый пчельник.

Когда-то, лет сорок назад, он, рано постаревший мужик на шестом десятке, вдовец, имевший приёмную дочь и двух внуков, смертельно заболел – и решил умереть в лесной тишине, подальше от города.

Он был совсем слаб – и его дочь, молодая ещё баба, оставив двух сыновей на мужа и бросив работу, перебралась за ним вослед.

Все думали: дед протянет месяц, ну, два – больше врачи ему не давали от всех щедрот, – и тогда б его дочка вернулась к детям и восстановилась на работе.

Но дед тянул да тянул.

Вытянул три месяца, потом целый год – хотя всё ещё казался слабым, вдыхающим последнее своё дыхание.

Всякий раз, когда дочь порывалась уехать, дед с ней прощался навсегда и ложился на печь, прося натопить как следует: «Во сне и отойду – хоть не сразу окоченею».

«Ну, ещё одну весну», – решила дочка, прожив так вторую весну, второе лето, вторую осень, а потом и очередную зиму.

В третью весну под присмотром деда она засадила огород.

Ел дед теперь только капусту и свёклу.

Тогда же старший сын его приёмной дочери закончил школу, и дочка задумала остаться насовсем. Пообвыкнувшись существовать со стариком посреди густого леса, решила: некуда теперь спешить – младший уж как-нибудь доучится.

На следующий год оживший дед решил развести пчёл.

С тех прошли несчётные годы.

Иногда пчельник, опираясь на крепкую, древнюю почти как он сам суковатую палку, проходил по деревне. Ни на кого не глядя, резким голосом дед вдруг почти выкрикивал отдельные фразы, как бы вырванные из обширной, но неизвестной нам речи.

Быть может, он говорил со своим прошлым.

В ту зиму, когда в деревне появился Шмель, умерла его приёмная дочь.

Дед остался жить дальше. Ему было примерно девяносто пять лет, и уже полвека дед никуда не спешил.

Время от времени сталкиваясь с ним на улице, я так и не смог рассмотреть его толком: с тем же успехом можно было попытаться запомнить рисунок древесной коры.

Почерневший, но с всклокоченными белыми бровями, дед был преисполнен временем.

Лицо его пересекали несколько чёрных вен, похожих на удары плетью. Рот был завален внутрь. Уши, напоминавшие волглые осенние грибы, мохнатились в раковинах серебрившейся на солнце паутиной.

* * *

Помимо пчельника, нашу малолюдную, затерянную в глухих лесах местность населяли следующие граждане.

Ближайшим соседом был Никанор Никифорович: наши дворовые постройки примыкали к его забору, но мы почти не виделись – зато слышали друг друга каждый день.

Лет ему было не менее пятидесяти, он был в меру пузат, несколько кривоног, держал собак и пропадал на охотах. Рыбачить тоже любил: ловил и на сеть, и на удочку, и многими иными хитрыми приспособлениями, но всегда один.

Раз видел, как он тащит два мешка рыбы: хмурый и торопливый, как тать.

Смотрел Никанор Никифорович всё время словно искоса, прищуренным взглядом, с пол-оборота, отчего возникало ощущение, что у него флюс, который он прячет.

При разговоре жестикулировал, как южный человек. Если что-то ему приходилось не по нраву, сразу повышал голос, и кричал как контуженый – будто сам себя не слыша.

Порой я становился невольным свидетелем, как он, то ли с кем-то, невидимым мне за его забором, то ли, скорей, сам с собой обсуждает соседей. Все соседи были, на взгляд Никанора Никифоровича, не вполне хороши.

Любую пойманную соседями рыбу он воспринимал как свою, уворованную у него. Всякая новая соседская постройка тяготила ему взгляд.

Молодых, в соку, женщин не выносил на дух, почти клокоча от раздражения: «...туда идёт, жопу несёт свою! Сюда идёт! Жопу несёт!». Это звучало так, словно женщина носила туда-сюда лукошко, полное яблок из его, опять же, сада.

В сущности, он был хороший мужик – если с ним не связываться.

Большинство деревенских держались от него подальше.

Никанор Никифорович имел жену. Жена наезжала к нему раз в месяц, а то и в три.

Через дорогу от Никанора Никифоровича проживала с двумя душевнобольными дочерьми Екатерина Елисеевна – удивительной доброты бабушка, которой неизвестно за что выдали скорбную судьбу. Сама она была совершенно нормальна: молещица и труженица, безропотно несшая свой крест. Дочки унаследовали болезнь по линии её мужа – при том, что и он был вменяем, только молчалив. Однако мужнин, что ли, прадед в стародавние времена страдал манией, лечился, не выправился и через поколение перекинул свой недуг.

Дочки были дебелие, заинтересовавшись чем-то – смотрели, пристыв, птичьими глазами, не любили громких звуков, летом пили во дворе чай, зимой, случалось, катали снежную бабу, потом громко ссорились из-за пустяка, и бабу побивали на куски. В конце концов одна из дочерей падала на снег и начинала рыдать, как маленькая, вызывая из дома Екатерину Елисеевну.

На краю деревни жил двадцатипятилетний пьяница Алёшка со своей матерью, лежащей больной, которой я никогда не видел.

Несмотря на свой возраст, вид Алёшка имел опойный и жалкий. Печень его уже не справлялась со всей той самогонкой и прочей отравой, что он при всякой возможности заливал в себя. С утра и вечером, весной и осенью Алёшкино лицо было безобразно распухшим.

В соседней деревне располагался сельмаг – единственный на весь наш, в сотню вдоль и наискосок вёрст, лес. Ежеутренне, не имея ни рубля в кармане, Алёшка шёл туда и неутомимо побирался, докучая очереди. Время от времени его били, и он возвращался с окончательно заплывшим глазом, или надорванным ухом, или волоча за собой куртку с единственным рукавом, а второй остался у магазина, и его таскали с места на место собаки.

Через три пустых старых дома от Алёшки жили муж с женой по прозвищу Слепцы.

На самом деле слепым в их паре был только отец семейства, а жена – вполне себе зрячей, однако деревенские определили их так в том числе и потому, что Слепцы всегда ходили вместе, а порознь их никто не встречал.

Лет десять назад муж начал катастрофически быстро терять зрение, и они решили съехать сюда, чтоб не слишком тяготиться трудным недугом среди многочисленных людей. Завели себе коз, и зажили крепкой, но очень тихой жизнью. Казалось, что вместе с мужниным зрением они оба утратили и голоса. На уличное приветствие жена отвечала глубоким кивком, а муж как гусь вытягивал шею и поворачивал голову из стороны в сторону, словно надеясь почувствовать запах встречного человека.

В сельмаге жена указывала на необходимые продукты, не называя их, а муж традиционно стоял рядом, очень прямой, и словно бы смотрящий поверх людей. Сильными руками он крепко сжимал свой посох: несмотря на то, что жена водила его под руку, он всегда еле-еле простукивал посохом пространство впереди.

Самым новым жителем нашей деревни был отставной прокурор – в одно лето он отстроил себе двухэтажный кирпичный дом и зажил обособленной жизнью со своей супругой.

У прокурора имелось шесть собак, из них четыре охотничьих. Охотничьи сидели на привязи, и лаяли иной раз часами. Две другие его собаки, какой-то кудрявой породы, похожие на

весёлых баранов, бегали по деревне. Я поинтересовался как-то у всезнающего Алёшки, отчего прокурор не держит собак во дворе. Алёшка поделился знанием:

– Прокурор сказал: этой породе положено расти на воле.

– Прокурору видней, – согласился я. – Кого на привязи держать, кого на воле.

У нас была хорошая деревня, хоть все названные и не слишком дружили друг с другом. Остальные её жители наезжали время от времени, чаще всего летом и на большие праздники. Мы же тут находились всегда.

Лес вокруг нас стоял сосновый, строгий, тёмный.

В лесу жили звери. Зверей было много больше, чем нас.

Мы были уверены, что живём на краю заповедника. В свою очередь, звери могли думать, что обитатели заповедника – это мы.

Чёрными вечерами большой лось выходил на другой берег маленькой лесной речки, протекающей по самому краю нашей деревни, и смотрел, как подрагивают редкие огоньки в нескольких окнах.

* * *

За год Шмель вымахал в огромного пса, а к двум был выше всякой встречной собаки самых крупных пород.

Шмель любил всё живое вокруг, даже котов.

К другим собакам у него не имелось никаких претензий, а при случае он был не прочь подурачиться с ними.

Но более всего его тянуло к людям.

Он источал нежность, изнемогая от желания познакомиться или возобновить прежнюю мимолётную дружбу. Все без исключения деревенские обитатели были для него желанными товарищами.

Под самый конец декабря в том году на небе как мешок развязался: снег валил лохматыми хлопьями.

В первое январское утро я едва смог открыть дверь. Крыльцо, перила, двор, крыши построек были пышно укутаны.

Шмель беспробудно спал посреди двора – вольера для него у нас ещё не было.

Сам он, однако, был жарок настолько, что снег на нём истаявал, и лишь слабая изморозь тлела на щеках, а бока припорошённо серебрились.

Мы вытоптали с детьми несколько необходимых нам тропок. Загнав сыновей на крышу сарая, я скомандовал хоть немного разгрести там – а то крыша не выдержит тяжести.

Но только они вошли в раж – снег с утроенной силой посыпал снова: рукой махнёшь в воздухе – и по пути готовый и крепкий снежок набираешь.

– Отбой, – скомандовал я.

Шмель продолжал спать.

Видно, решили мы, в новогоднюю ночь было слишком шумно. Нахватавшийся впечатлений пёс видел во сне звёзды, бегущие врассыпную от весёлого грохота, и еле заметно трепетал хвостом.

...На другое утро я застал Шмеля в том же виде. Пёс безмятежно похрапывал, но я всё равно растолкал его, чтобы проверить, в порядке ли он. Шмель тут же принялся целовать меня, а следом и всех остальных.

Но третий день он тоже, в целом, проспал.

А потом – четвёртый и пятый. И на шестой тоже едва нёс на прогулке огромную башку.

Разгадку его беспробудной январской неги нам ещё предстояло узнать.

* * *

Как только закрывали двери и тушили свет, Шмель по огромному сугробу взбирался на крышу сарая, а оттуда спрыгивал в такой же сугроб – на улицу.

Деревня манила и ждала его, стелясь запахами, зазывая звоном посуды и голосами людей.

Уверенной трусцой он двигался по деревне, чувствуя себя сусальным ангелом с ёлки, хоть и подростком.

Разбираться с дверями и засовами Шмель обучился ещё в детстве. При встрече с любой преградой он попеременно использовал уже привычные ему навыки: надавить лапой ручку, поддеть приоткрывшуюся дверь когтями, а затем – носом. Либо, не слишком разбегаюсь, а просто на ходу, боднуть дверь головой. Мягкий удар этот, при всей, казалось бы, неспешности Шмеля, обладал восхитительной силой.

Первым на его пути оказался дом Екатерины Елисеевны; в окнах его слышался женский смех, а пахло так, что у Шмеля закружилась голова.

...Сначала раздался стук калитки на улице – «...кто это? – спросила удивлённо бабушка Екатерина. – Алёшка, что ли?..», – затем скрип раскрываемой двери...

...Несчастные дочери Екатерины Елисеевны, не разобравшись в полутьме, вскочили на стулья и заверещали. Сама бабушка сидела к дверям спиной. Привыкнув к шумной дурости дочерей, она ожидала увидеть Алёшку в дурацком наряде, и никакого иного зла не ждала – что ещё могло быть злей её обрушенной жизни...

Но увидела – огромную снежную башку зверя.

Мощным хвостом Шмель сбивал подвернувшегося ребёнка с ног – что ему в тот вечер были предметы обихода, совки и метёлки, а также стоящие по лавкам вёдра и салатницы? Всё это шумно посыпалось и отчасти разбилось.

– ...да боже мой, – всплеснула мягкими руками Екатерина Елисеевна, разглядев, наконец, гостя. – Это ж соседский пёс.

– Пёс! – повторили эхом её перепуганные великовозрастные дети. – Пёс!

...Через минуту все успокоились.

Дочери постепенно, будто сходя в горячую воду, спустились со стульев.

Екатерина Елисеевна протянула зверю блинок. Блинок исчез в благодарной пасти.

Дочери, чуть дребезжа, засмеялись. Каждая, не сводя со зверя глаз, потянула с праздничной тарелки ещё по блинку.

...Как его кормили!

С рук. Со сковороды. Из чугунка. Из салатницы. Из кастрюли. С пола.

Наконец, со снежного наста во дворе, куда ему выносили, сгребая с тарелок и плошек вперемешку жаркое, салаты и выпечку.

Шмель ел, как и положено отличному мужику: с яростью, не забывая при этом поднимать голову и благодарить ласковым взглядом из-под набрякших век и чуть торопливым полувзмахом хвоста.

Он явился к несчастным девушкам – как жених, которого они не чаяли увидеть.

И он был от них в совершенном восхищении. От их рук. Их причёсок. Их нарядов. Их обихода. Он целовал их то всех сразу, то по очереди.

Бабушка Екатерина Елисеевна давно отчаялась мечтать о внуке – а он взял и пришёл.

Причём так, как правильные мужчины возвращаются из походов и дальних командировок: в ночи, в снегу, неожиданный, нежный и очень голодный.

Подперев лицо рукой, Екатерина Елисеевна любовалась на него.

В ночи, при всесторонней поддержке Шмеля, раскрасневшиеся девушки наконец-то доделали снеговика, и в этот раз – не поругались.

* * *

Отставной прокурор забрался в непроходимые леса потому, что хотел на старости лет избежать встреч с теми, кого ему довелось всерьёз обидеть при исполнении своих суровых обязанностей.

Он давно привык не сходиться ни с кем и лишней дружбы не искать. С местными жителями здоровался издалека.

Всегда задёрнутые окна в прокурорском доме даже формой были похожи на бойницы. В доме он держал несколько ружей.

Пока его псарня не слишком надрывалась, мне даже нравилось, что прокурор не слишком старается согласовать свой быт с жизнью соседей.

«...да, – будто говорил он, – я живу как живу, мои собаки брешут во все стороны, но они лают – в моём дворе, и ваши собаки имеют все основания лаять в ответ».

За несколько лет я так и не узнал, как прокурор выглядит вблизи. Супругу его я тоже видел только мельком.

Никто из деревенских с ними не общался. Гостей они не принимали.

В новогоднюю ночь прокурорская чета устроила у себя во дворе фейерверк на двоих. Удовлетворённые, они отправились выпить шампанского, на радостях забыв запереть дверь, которая в остальные дни и ночи была неизменно закрыта.

Менее всего ждали они в ночи гостей.

Дом их, словно бы на случай наводнения, имел высокий фундамент. Войдя, нужно было подниматься по высокой лестнице, которая приводила сразу в кухню. Кухня соединялась с залом. Посреди зала лежал огромный и дорогой ковёр.

Прокурор и его супруга сидели вдвоём за скромным столиком – два бокала, две красивые тарелки, ничего лишнего, – когда почувствовали, как по ногам пошёл явственный сквозняк.

– Дверь, – сказала супруга. – Дверь. Открылась.

Она всё ещё надеялась на разыгравшийся зимний ветер, хотя помнила, что никакого ветра на улице нет, – и прямо сейчас видела, как за окном, не кружа и не качаясь, валил тяжёлый снег.

Так долго готовившийся к этому дню, прокурор вздохнул и понял, что все его старания оказались тщетны. Он не обнаружил в себе ни малейших сил, чтоб подняться и взять ружьё.

На лестнице раздались быстрые шаги – видимо, шло сразу несколько человек. Входную дверь гости не закрыли.

Никакой сосед, зашедший даже без приглашения в новогоднюю ночь, не стал бы так делать.

Напротив, соседи, как бы заглушая своё стеснение, наверняка б уже прокричали бы снизу: «Хозяева! Это мы! На минутку!».

Эти же намеревались совершить короткий визит – и сразу уйти. Они знали: если дверь захлопнуть – придётся с ней на обратном пути возиться, теряя время. Опытные люди!

Прокурор вытянул свои длинные ноги и кивнул супруге.

«Прости, милая, но вот так. Я не смог тебя защитить. Однако мы прожили хорошую жизнь. Несмотря на то, что все эти годы я едва уделял тебе внимание. Была надежда исправить прежние ошибки, поселившись в новом доме. Но...»

Гости двигались молча и убеждённо. Шаги звучали всё ближе.

Супруга перевела умоляющий взгляд на мужа.

Он тихо положил рядом со своей тарелкой вилку, менее всего желая выглядеть в такую минуту нелепым.

На кухне грохнул кухонный столик с уже вымытой посудой.

«Какие всё-таки хамы...» – с лёгкой тошнотой подумал прокурор.

Взгляд его поплыл. Он почувствовал томительный приступ усталости, словно только что присел сто раз.

«Только бы не упасть в обморок, – попросил он самого себя. – Недолго осталось».

В проёме дверей показалась огромная башка.

«Зачем им собака? – была первая его мысль. – Что за маскарад?»

Но собака была одна, и с необычайной амплитудой размахивала хвостом.

Супруга приподнялась. Она улыбалась, держась при этом за сердце.

– ...сейчас... разобьёт... вазу, – словно бы извиняясь, сказала она мужу, кивая на пса.

...Спустя полчаса Шмель, как всегда, не ожидая от мира ни подвоха, ни упрёка, спал, похрапывая, посреди богатого ковра.

Прокурорская чета целовалась на тахте.

* * *

Алёшка имел трепетное сердце, биение которого казалось ему чем дальше, тем неуместней.

Он воспринимал своё бытие как недоразумение.

Сердце его саднило, и он топил его, будто щенка. Но тот всё не тонул – и каждое утро выползал из мертвящей воды на сушу. И начинал ныть так тягостно, что Алёшка немедленно приступал к поиску новой воды, чтоб щенок наконец захлебнулся.

Матушка заболела более десяти лет назад. Алёшке тогда было немногим за десять.

Отца своего Алёшка не видел ни разу, образования не имел, любви, помимо материнской, не знал, а дружбы ему водить было не с кем.

Сколько Алёшка себя помнил, он всегда был пьян или с похмелья, хотя денег для поддержания подобного состояния почти не имел – разве что в день получения материнской пенсии и смехотворного пособия по уходу за ней.

Однако как заключённый всегда обманет тюремщика, оттого что думает о побеге каждый день, так и Алёшка непрестанно находил прорехи в мироздании, чтоб наконец покинуть его.

...Что до Алёшкиной матери – она ждала врача.

Ближайшие, в ста километрах от нас обитавшие врачи решили для себя, что нашей деревни нет в природе, с тех пор как по пути сюда развалились на части одна за другой три машины «Скорой помощи». Борт с красным крестом не первый год украшал нашу просёлочную, в нереальных ямах и удивительных колдобинах дорогу. Весной и осенью её покрывали огромные лужи, глубина которых познавалась только опытным путём. Зимой дорога была завалена снегом, и сугробы по обочинам доходили до лобового стекла автомобиля.

Летом же Алёшкиной матери становилось лучше – и о враче она забывала, потому что солила огурцы и помидоры, которые откуда-то приносил Алёшка, уверяя, что его угостили.

Но с приходом холодов Алёшкина мать снова начинала ждать лекаря.

Лёжа на кровати, изо дня в день она репетировала рассказ о том, что, как и когда у неё болит, а потом пыталась вообразить, сколько красивых, новых и необычных лекарств ей выпишет молодой и отзывчивый врач, часть которых он сразу же привезёт в огромной ароматной аптечке.

...Шмель не смог открыть дверь в Алёшкин дом по той простой причине, что ручки у неё не было, да и петель тоже.

Выходя, Алёшка приподнимал дверь и выносил её немного в сторону, а затем возвращал на место.

Некоторое время Шмель ходил вокруг этого, самого бедного в деревне дома.

Несколько раз он с глухим стуком прислонял нос к густо замороженному стеклу – в надежде, что его заметят изнутри.

Алёшка давно уже крепко спал, сидя за столом.

Мать его дремала под треск радиоточки, пока настойчивый шум во дворе не разбудил её.

– Врач, – сказала она вмиг посветлевшим голосом.

– Ночная новогодняя смена, – пояснила она спящему Алёшке совершенно серьёзно.

Лежавшим возле кровати костылём она растолкала сына.

– Сынок, сынок, сынок, – повторяла она торопливо. – Врач приехал.

Чертыхаясь и шаря руками на ощупь, забыв, где заснул, Алёшка поднялся и некоторое время стоял, растопырив руки.

Сообразив, наконец, куда надо сделать шаг, чтоб включить единственную на их дом лампочку, он ещё с минуту перетаптывался в слабом свете, слушая жалобное щебетанье матери.

Наконец, вынес дверь – и во тьме увидел щенка, которого так долго топил; только щенок этот вырос и стал огромен.

Шмель пихнул мохнатой башкой Алёшку – и тот упал, как скошенный.

Торопясь войти, Шмель наступил Алёшке на живот, на голову, и ещё куда-то.

Преодолев досадное препятствие, Шмель не раздумывая запрыгнул к Алёшкиной матери на старый диван, снеся по дороге табуретку с просроченными лекарствами.

Заняв место у стены, он смотрел на Алёшкину мать в упор.

Мощный его хвост мерно ударял о стену.

Она вдруг засмеялась.

Отирая с лица снег, Алёшка сел – и вдруг вспомнил, что последний раз мать так смеялась, когда ему было двенадцать лет. Ягоды с ней собирали.

* * *

Разводившие коз Слепцы всю вторую половину декабря ждали пополнения – козлят.

Каждый приплод, тем более новогодний, был в радость. Козлята рождались шёлковые на ощупь. Они доверяли миру, пахли теплотой и потешно крутили хвостиками, присасываясь к материнскому вымени.

В предновогодний вечер жена несколько раз выбегала проверить, как там дела. Коза волновалась, смотрела прямым, стыдящим взглядом, бока её бугрились, – но до полуночи так и не разродилась.

Глубокой ночью слышали в котухе шум.

– Родила! – убеждённо сказала жена шёпотом. – Наша-то девонька.

Взяв переносной фонарь, чуть разгорячённые выпитой настойкой, они поспешили к роженице.

У них имелись ещё две козочки, два козлёнка и взрослый бодучий козёл.

Муж по звуку топотанья отличал всю свою животину, и, подходя, отчётливо понял: перебегающий из угла в угол по загону старший козёл не просто возбуждён, но сильно напуган.

Жена распахнула дверь и вскрикнула. Тусклый фонарь едва не выпал из её рук.

Впервые в жизни она сумела подумать одновременно о трёх вещах: коза родила кого-то не того, настойка оказалась слишком крепкой, надо перекреститься, но мешает фонарь.

Муж, в силу отсутствия зрения, не имел возможности испугаться столь же сильно.

Несмотря на слепоту, он знал расположение всего надлежащего в своём хозяйстве. Ровным движением безошибочно нашёл выключатель и щёлкнул им. Загорелся свет.

Вслушиваясь, муж понимал: ничего настолько страшного не происходит – дышали все звери, и значит, смертоубийства не случилось; остальное же казалось ему поправимым.

– Что там? – спросил он спокойно.

Жена выдохнула и сказала:

– Господи... Собака. Огромная. Как она сюда попала?.. И козлята родились... Подойти бы к ним теперь...

Шмель возлежал на свалывшемся сене посреди коз.

Они уже свыклись с ним, и не ощущали в его присутствии угрозы. Поначалу козёл пытался его заботать, но Шмеля это не тронуло и не смутило. Спустя некоторое время козы улеглись с псом рядом.

Шмель обожал, когда возле него лежит и дышит кто-нибудь тёплый.

К тому же тут прекрасно пахло: молоком, навозом, новой жизнью.

Завидев хозяев, он приподнял голову и дважды, чуть вопросительно, взмахнул хвостом.

«Я ведь не мешаю?.. – примерно так можно было разгадать его взмахи. – ...Не о чем беспокоиться, я за всем присмотрел...»

При всяком движении скользящий по дну котуха хвост возносил ворох грязной соломы.

* * *

Внуки, пусть и неродные по крови, на всякий большой праздник искренне хотели вывезти в город одинокого древнего деда. Он отказывался наотрез.

В последний декабрьский день дед с утра топил печь. Ближе к вечеру пил отвар на летних травах. Долго и старательно облизывал деревянную ложку с пристывшим намертво мёдом. Смотрел в окно, помня, что где-то там появляется сейчас первая, уже невидимая ему звезда.

Забирался на печку и ждал смерть.

В течение года смерть так и не явилась, но, быть может, она блюла календарь – и теперь обходила тех, чья документация в общем реестре обветшала или утерялась.

До ноября дед спал с открытым окном и холода не боялся, а в новогоднюю ночь, чтоб смерть не встретила преград, оставил дверь приоткрытой, воображая себе, какой она предстанет.

В старуху с косой дед не верил. Он сам был старик – и чем, спрашивается, могла его напугать старуха, если он пережил их на своём веку несчётно?

Полвека назад тут в каждой избе жило по старухе, и всех их дед перехоронил. У старух были дочери, и многих из них он тоже схоронил. Теперь пришла пора внуков, но им дед счёта уже не вёл.

Даже если все они соберутся – какой от них страх?..

Смерть явилась в ночи и оказалась медведем.

Старый пчельник был единственным жителем в деревне, никогда не видевшим Шмеля прежде, и распознать его по слабости зрения не мог. Тем более, что таких больших собак встречать ему не доводилось.

Медведь обнюхал пол вокруг печи и поискал кого-нибудь живого.

Живая душа, чувствовал Шмель, здесь имелаась, хоть и едва теплилась.

Дед пошамкал впалым ртом и произнёс:

– Я тут.

Медведь возликовал и, конечно же, на радостях сшиб со стола все наставленные там черпаки и чашки.

«Ишь ты, – довольно подумал дед. – Обрадовалась».

* * *

Под утро Никанор Никифорович вышел покурить.

Ему давно уже не было скучно одному. Люди его тяготили.

Случалось, в зимние вечера Никанор Никифорович вдруг испытывал к своей близкой и дальней родне щемящий порыв нежности. Но, поразмыслив и вспомнив этих людей во всей полноте их характеров, он столь же резко, безо всякого перехода, начинал сердиться.

Сегодня, немного выпив, он только под утро заскучал по собеседнику. Не то чтоб Никанор Никифорович был мучим желанием излить душу – нет. Ему нужна была живая натура минут, скажем, на семь: один перекур, и достаточно.

Мучимый бессонницей, Никанор Никифорович точно не надеялся встретить кого-то на рассвете, но в этот раз ошибся.

Шмель сидел у него на крыльце и смотрел, как падает снег.

– О, – сказал Никанор Никифорович, не удивившись: всё-таки он был охотник, и не раз оказывался со зверем лицом к лицу.

– Погоди, я рюмочку вынесу, – предложил он.

Через минуту Никанор Никифорович вернулся с рюмкой и сальцем, щедро порезанным на доске вперемешку с луком.

– Лук ты не будешь, – резонно предположил он, – а я буду. Ну, с Новым годом, как там тебя... Шмель... Назовут же собаку. Держи вот. Эх, ну и пасть.

...Тем же, которым покинул двор, путём наш пёс возвратился домой – и тут же уснул.

В том январе выяснилось: Шмель обладал завидным качеством лучших праздников – вовремя и без непоправимых разрушений уходил.

Но более того: он ещё и возвращался – что лучшим праздникам, вообще говоря, не свойственно.

...Он снова обошёл всю деревню в ночь с первое на второе января.

В этот раз его уже ждали – и кормили ещё изобретательней.

В последующие дни он повторял свои обходы, а если где-то уже было заперто и все спали, Шмель не слишком огорчался, обещая вернуться завтра.

* * *

В первое воскресенье января Алёшка вывез свою матушку в самую середину деревни, где сходились три наши кривые улочки и висела тяжёлая красная рында.

Мать восседала на удивительной каталке: к старому, утеплённому меховым цветастым одеялом креслу были приделаны снизу широкие полозья, а к спинке – крепкие рукояти.

Это Никанор Никифорович постарался и смастерил такой вездеход, хотя ранее ни для кого в деревне ничего подобного не делал.

По случайному совпадению, наше семейство в ту минуту вывело Шмеля на прогулку.

Удивившись неожиданному явлению Алёшкиной матери – молодой, в сущности, женщины, которая не просто улыбалась, но ещё и махнула нам рукой в разноцветной варежке, – мы остановились.

Алёшка был слегка поддат, но ловко управлялся с поставленным на лыжи креслом. Он громко отдавал себе команды, и тут же сам отвечал.

С другой стороны деревни показалась тепло одетая прокурорская пара. Было очевидно, что и они движутся к нам.

Из леса, по крепко натопанной тропке, с нарочитой степенностью, одёргивая одна другую, шли дочери Екатерины Елисеевны.

Спустя полминуты мы увидели и её саму. Бабушка торопилась, оправляя сбившийся плавок на вспотевшем лице. Вид у неё был такой, словно всем нам предстоял серьёзный разговор.

Мы почувствовали себя несколько неуютно, хотя вины за собой не знали.

– Это мы со Шмелём натоптали тропку! – сообщила нам ещё издали одна из дочерей Екатерины Елисеевны.

– Шмель первый, а мы следом, и тропку натоптали, – подтвердила вторая.

Я улыбнулся одной стороной лица и посмотрел на жену.

Жена пожала плечами: «Ну вот так. Бедная Екатерина Елисеевна».

Нужно было уходить, пока не слишком завязался разговор, но здесь в поле зрения появились ещё и Слепцы, направлявшиеся сюда же.

– Шмель съел все мои лекарства, – весело поделилась Алёшкина мать, подъехавшая наконец к нам почти в упор на очередном, выполненном Алёшкой, развороте.

– Без них мне гораздо лучше, – добавила она.

Моя жена улыбнулась одной стороной лица и посмотрела на меня.

Я пожал плечами, как делает человек, когда ему что-то попадает за шиворот.

Подошедшая прокурорская пара тепло улыбалась собравшимся. Чуть замаявшись, прокурор передал моей жене красивую, громыхнувшую словно бы леденцами баночку.

– Витамины, – сказал он. – В Лондоне купил. Для крупных собак. У нас настолько крупных нет. А Шмель, когда разоспится у нас на ковре, потом долго думает, с какой ноги вставать. Как бы его не начали суставы беспокоить.

– У вас на ковре? – переспросил я равнодушно.

– Да, на ковре, в зале, – дружелюбно поддержала разговор супруга прокурора. – Он всегда там спит. Индийский ковёр. Мы, знаете, никогда собак домой не пускали. Муж категорически против: шерсть, запах... А ваш пёс – словно в придачу к этому коврику явился. Даже не замечаем его порой – так привыкли!

Прокурор перевёл на свою супругу медленный и, как мне показалось, затуманившийся взгляд.

Подошедшие наконец Слепцы громко и едва ли не хором воскликнули:

– Поздравляем! Шмель стал крёстным отцом! Два козлёнка и козочка. Все в него.

«...а вот и пчельник...» – подумал я бесстрастно. Древний дед твёрдо двигался в нашем направлении.

Екатерина Елисеевна откуда-то из-под шубы – видимо, грела собой, – извлекла отекающий маслом и пышущий жаром свёрток:

– Блинцы. Его любимые, – и передала моей жене. – По сорок штук за раз может съесть, – добавила она и ласково кивнула мне.

Жена снова посмотрела на меня.

Я снова пожал плечами: да, люблю блины, что такого.

Дочери Екатерины Елисеевны привычно присели возле Шмеля с разных сторон, ожидая незримого фотографа, должного их запечатлеть.

Тем временем, словно бы в поисках кого-то, пчельник прошёл сквозь нас, как меж деревьев. Отдалившись на несколько шагов, вдруг остановился и громко, с удовольствием произнёс:

– Обманула! Мохнатая! Голова!

* * *

Никанор Никифорович накрыл прямо на капоте своей машины лёгкий зимний столик. Варёные яички, козий сыр, бутылъ хреноухи, в которой, если её потряхнуть, возникал вихорь, и начинало зарождаться бытие.

Из вихря выбредали мы – те же, что в жизни, – но приобретшие более адекватные своей потайной сути формы.

Екатерина Елисеевна легко двигалась по кругу, как перекасти-поле, – но, если ты сталкивался с ней совсем близко, доброе лицо её вдруг вспыхивало, как самый солнечный и масляный блинок.

За ней бежали два бестолковых и вечно перепуганных цыплога, оставляя на снежном насте нелепые следы.

Прокурор был очень длинен – он перемещался вровень с островерхими соснами, и, хотя жена была меньше его в несколько раз, это им не мешало прогуливаться.

Иногда он брал её на руки, перенося через сугробы.

Дед-пчельник, проламывая время, как скорлупу, то входил в нашу реальность, то выходил из неё, словно играл с кем-то в суровые прятки. Проломы, оставленные им, наскоро зарастали, и летящий вослед за пчельником снег слабо бился о возникшую преграду.

Спустя минуту дед возникал в другом месте.

Слепцы шли с огромными глазами, в которых протекали облака. Глаза были настолько велики, что остальное человеческое строение этих людей оказывалось и неразличимым, и неважным.

За ними шли козы, такие же большеглазые. При этом козы осмысленно пересмешничали над хозяевами, на удивление точно пародируя их очарованный вид. Когда хозяева оборачивались, козы делали вид, что жуют траву, хотя никакой травы вокруг не было: зима же.

Алёшка скатал свою неизбывную боль в снежный шар, и приделал ей нос чёрной свёколкой. Его матушка возила вокруг этого шара своё кресло, на котором важно сидел врач.

Шмель же, наподобие шмеля, кружил над деревней, то оставаясь лишь звуком, то неожиданно и полноценно фокусируясь, чтоб в человеке не утратилась вера в чудеса и прочие настоячивые откровения.

* * *

На следующий день мы вычистили снег во дворе, уверенные в том, что Шмель отныне утратит возможность сбегать ночами через крышу.

Не отчаявшись, пёс вырыл за ночь лаз под забором – и перебрался на ту сторону.

Глядя с утра в эту яму, я в очередной раз поразился его невероятной силе. Выбивая в промёрзшем грунте ход величиной в огромное кобелиное тело, он перемалывал в чёрную халву ледяную землю, которую и ломом было не раздробить.

В те годы мы ещё были бедны и не могли позволить себе каменный забор.

Пропитанье Шмеля – и то оставалось нагрузкой для нас.

Каждый день мы варили ему огромную кастрюлю съестного, забрасывая в масляный бульон картофельные очистки, несколько луковиц, морковь, немного крупы, а ещё макарон, и, быть может, яичко, и всякие объедки, и обязательно мяса – скажем, куриные потрошка, – в любом случае как бы отнятое у детей, которые и сами бы съели это.

Еда выносилась Шмелю в тазу, и он весело грохотал им во дворе, со скрежетом возя туда и сюда башкой, пока не вылизывал дочиста.

Но какой бы ни был он сытый, Шмель всё равно помнил, чем ещё богата наша деревня, – и, едва доев, задумывал новый побег.

Можно было б держать его дома, но там он начинал тосковать от жары.

Приходилось его выпускать, что неизменно оборачивалось очередной самовольной отлучкой.

До самой весны я имел ежедневную заботу и работу, закапывая то здесь, то там его лапы и проходы.

Делал поперечные закладки из выброшенной мебели. Ловко прилаживал в местах предполагаемого ухода старые грабли, переломанные лопаты, кривые вилы. Выставлял на пути Шмеля закопанные крест-накрест доски.

Однажды он, раздосадованный моими стараниями, с разбегу выбил дыру в дощатой хилой ограде. С тех пор там лежала поваленная на бок пружинистая кровать с заиндевелыми пружинами.

Со временем забор наш стал походить на передвижную авангардистскую крепость.

Ничто не могло остановить Шмеля. Он обыгрывал тщетные мои старанья с разгромным счётом. Его стремление к людям было неукротимо.

Двор обратился в поле битвы и разора.

Весной мы влезли в долги и наняли строителей, которых я доставил на место, преодолев грохочущий, льдистый разлив нашей лесной дороги.

Вокруг двора возник нерушимый забор. Во дворе образовался вольер. Вольер залили бетоном. Поверх бетона был насыпан густой слой щебня.

Разметав этот щебень в минуту, Шмель упёрся в преграду, которую не могли раскрошить даже его непобедимые лапы.

Несколько дней он не оставлял попыток преодолеть возникшие препятствия. Каждое утро мы обнаруживали нарытую гору щебня то в одном углу вольера, то в другом.

Но миновала неделя, вторая и, наконец, Шмель без малейших обид смирился с новым своим положением.

Это не удручило его и не привело к ностальгии – что делало пса в сравнении с человеком существом безусловно более совершенным.

* * *

В мае я обратил внимание, что прокурор теперь всегда держал дверь в дом открытой, а старик-пчельник, напротив, закрытой.

Дочки Екатерины Елисеевны непрестанно что-то готовили, и каждое утро наряжались, хотя идти им было особенно некуда. Выглядывая в окно, то с утра, то вечером, я видел, как они с таинственным видом бродят вдоль нашего нового забора.

Когда, разбуженный их шагами, Шмель издавал короткий беззлобный лай, они останавливались и, чуть присев, общались знаками, рисуя в майском воздухе таинственные фигуры.

Неизменно являлись к нашему двору козы Слепцов – хотя никаких трав здесь не росло. Мохнатая мать семейства приводила своих весёлых козлят, вздорного, но податливого мужа и меланхоличных сестёр прямо к новым воротам, напротив которых козье стадо обрело себе постоянное лежбище, усеивая всё вокруг чёрным симпатичным помётом. Старшая коза смотрела на ворота внимательно и осмысленно. Ожидание не утомляло её.

Привычно напивавшийся Алёшка имел привычку заходить в наш двор без спроса, и, усевшись на крыльцо бани, вести своеобразные одинокие диалоги, первым голосом изображая меня, а вторую партию оставляя за собой.

Отодвинув занавеску в окне второго этажа, я с интересом следил за ним и вслушивался в его занимательную речь.

Алёшка почти выкрикивал импровизированный текст:

– «А чего ты явился сюда, Алёшка? Ты знаешь, что это чужой двор?» А знаю. Явился и сижу тут. «А я вот как выйду и прогоню тебя. Вытащу тебя за шиворот! И валяйся там с козлами, а не лезь в чужие владения!» А вот выйди и вытащи! Что же ты не выходишь? «Оттого что, помимо тебя, дурака, есть у меня ещё и другие дела!» Конечно, у тебя есть другие дела! Есть другие важные дела! Один Алёшка у нас бездельник! «И не передразнивай меня!» И не передразниваю!

Свесив голову и обращаясь словно бы к земле, он мог так забавляться весьма долго. Изредка Алёшка молча возносил руки к небесам, не прося этим жестом ни участия, ни даже внимания, но как бы осмысленно переигрывая.

Затем голова его снова свисала, как плод на ветру, и он повторял по кругу всё то, что произносил минуту назад.

И вдруг, подняв трезвые глаза к моему окну на втором этаже, где я затаился, как мне казалось, невидимый снизу, Алёшка произносил совсем иным, чистым и прозрачным голосом:

– Дядя Захар, можно я посижу у Шмеля?

Дебрь

Было время, ко мне в деревню наезжали товарищи, и мы подолгу не могли расстаться, — хотя, казалось бы, не далее чем полгода назад сидели неделями на одних позициях, ночевали в стылых прифронтовых домах и грелись горьким чаем в блиндаже.

Теперь же мы колобродили в самом далёком тылу, преисполненные ощущением бессмертия.

Едва различимые для человеческого зрения, над нами парили птицы, и сверху видели даже сигареты в наших зубах.

Сразу после гусарского завтрака мы усаживались в большую машину и, распахнув окна, задорно неслись сквозь лес, сшибая ладонями листву.

Лес начинался у нас возле дома — и заканчивался в трёх днях пути.

* * *

Кружа с товарищами по лесным, давно позаросшим травой дорогам, хмельные и дурашливые, выехали однажды на круглую полянку, где путь вдруг обрывался.

Спешившись там, безо всякой осмысленной цели пошли мы по тропке.

Но и тропка завершилась посреди леса, никуда не приведя.

Одичавшие в своих городах, некоторое время мы бродили без смысла, трогая мхи, разглядывая папоротники и удивляясь огромным муравейникам.

Вдруг ополченец с позывным Злой закричал:

— Тут озеро!

Через несколько минут мы собрались у воды.

Озеро было тихое, как во сне.

Ошалевшие от жары, собраты мои поскидывали одежды, чтоб искупаться.

Не желая потом ехать в сырости, я остался на берегу и с улыбкой смотрел на пацанов.

Они поспешно вошли в недвижимую воду, но озеро оказалось слишком мелким, чтоб обрушиться в него сразу же.

Шли, гогоча и время от времени взмахивая, чтоб сохранить равновесие, сильными белыми руками. Вода едва доставала им до колен. Глубже всё никак не становилось.

Дно, догадался я, было мягким, илистым: товарищи мои с трудом поднимали ноги.

Голоса их удалялись.

Вскоре им надоело шуметь — и теперь они шли молча, ожидая, когда воды вокруг них станет больше.

Самый сильный из них, по имени Родион, отчаявшись идти дальше, с весёлым размахом рук упал на спину.

Поднявшись на берегу, я сумел разглядеть в сияющем солнечном свете, как его накрыло донной чернотой и водорослями.

Ополченец Злой, видя падение товарища, ловким и чуть забавным движением прикрыл лицо от брызг, и резко взял вправо, но вскоре тоже, белозубо смеясь, обрушился в тёмную воду.

* * *

Озеро это, не явившее никаких, помимо своего мелководья, тайн, часто вспоминалось мне, со временем приобретая странную загадочность.

Я всё вглядывался в дымку, висевшую в том июле над дальним берегом озера, надеясь что-то различить. Но, сколько я ни старался, память не могла тот берег приблизить, напротив, размывая его очертанья.

С тех пор я пересёк несколько самых горячих и самых холодных морей, перелетал океаны, а после купался в них, спускался на ледяных сквозняках к отдающим вековечной студёной силой рекам, бросал камни в заброшенные пруды неслыханных глухومانей, – а своё озеро навестить мне всё было недосуг.

Но однажды, лет семь спустя, я решился.

Стоял мягкий сентябрьский день.

Со мной был белоснежный Кай – русская псовая борзая, жизнерадостный и стремительный ангел, разгонявшийся в беге так, что казалось, вот-вот – и он преодолеет земное притяжение.

У него была поразительно большая, похожая на музыкальный инструмент грудная клетка. Представлялось, что она могла бы издавать оглушительный лай, – однако Кай почти не подавал голоса, и только когда с ним не гуляли слишком долго – протяжно выл.

Предназначение этой грудной клетки было иным: дать возможность собаке, набрав облако воздуха, лететь, едва касаясь земли тонкими красивыми ногами.

Примерно помня, где располагалось то озеро, я сразу взял хорошую скорость прогулки, намереваясь дойти быстро: за час или полтора.

Досаждали комары. Тихо ругаясь и шлёпая себя по щекам, я нарвал папоротника и, поместив внутрь колючую еловую ветвь, собрал хлесткий букет. Неистово размахивая им и сладострастно ударяя себя то по спине, то по затылку, двинулся дальше.

Поначалу мысли мои были тяжелы, словно я нёс в голове путаный, в тромбах, нервический клубок.

Но, зацепившись за что-то, клубок начал неприметно разматываться.

Я шёл по прямой, Кай же тем временем двигался вокруг меня и наискосок, рисуя на моём пути зигзаги, треугольники и овалы. На каждые пройденные мной сто метров он пробегал в десять раз больше.

За строгими, стоящими навтыжку соснами то слева, то вдруг уже справа мелькало его воздушное, как бы пенящееся тело.

Он был одновременно вдохновенен и сосредоточен.

Трудные мысли оставили меня совсем, и голова стала легче, а мысленная речь – бессвязней: так бывает, когда засыпаешь; но тут возникло и захватило меня состояние ровно противоположное. Я не засыпал – я осыпался.

Спустя полчаса окончательно исчезло то первое чувство, когда мне показалось, что идти – скучно, и что телу тягостно это увязующее движение по песку едва приметной лесной дороги. Идти стало весело.

«...так всякое дело пугает, пока не возьмёшься», – думал я легкомысленно, чуть прибавляя в скорости.

Ноги забыли о том, что они идут. И даже комары исчезли, словно им не хватило сил гнаться за мной.

* * *

Лай деревенских собак затих, и мы остались одни в тишине сентябрьского леса.

Кай, могло показаться, делая круги всё больше, терял меня из виду, но я точно знал, что это не так. Он слышал меня.

То тут, то там виднелись обрубленные деревья – словно кто-то огромный безжалостно поломал их. Я лениво размышлял над загадкой этих лесных бурь.

Когда здесь выламывались с корнями огромные сосны и рушилось вековое бытие – в деревне, где мы жили, стояла тишина. Ни одна буря никогда не заглядывала к обитающим совсем неподалёку людям.

Ветер, крушивший величественные деревья, запросто снёс бы крышу нашего дома, завалил бы его набок, разметал. Но отчего-то ветер этот возникал и заканчивался – здесь, в глуши.

Казни охватывали совсем малые участки: словно злой дух, вырываясь из земли, наугад, в знак устрашения, убивал несколько деревьев – и тут же, удовлетворённый содеянным, возвращался назад, во тьму.

Сколько я ни ходил по лесу, мне так и не довелось ни разу застать даже последние дуновенья случившихся бурь. Зато очередные последствия расправ я встречал постоянно.

Быть может, деревья сражались друг с другом?

Быть может, мучимые чем-то, они, вырывая ноги, пытались бежать?

Я знал одно такое место, которое не переставало удивлять меня. Сосны там стояли, замыкая почти ровный круг, как бы обращённые лицами в центр хоровода.

В середине росла крепкая разросшаяся берёза.

Злобно настроенные к ней сосны обступали берёзу всё ближе. Оттого полная внутренней силы, но осознающая, что в этом окружении ей не выжить, берёза начала обращаться в сосну. Она ещё не умела заменять свои лиственные ветви на колючие сосновые, однако белый её ствол – потемнел, побурел, и был почти неотличим от соснового.

Я всё представлял, как трудно она росла. Как по сей день страшно ей бывает ночами. Как мучит её проклятая белизна тела. Как снится ей берёзовая стая, переливающаяся на ветру и говорящая на одном струящемся языке.

Сосны всегда не в пример молчаливей берёз.

То озеро, куда я шёл, было с одной стороны сосновым. Сосны величаво отражались в недвижимой, свинцовой на вид воде.

Но на другой, дальней стороне – я помнил – стояли еле различимые берёзы, и оттуда исходил тихий берёзовый свет.

Словно бы сошлись когда-то два воинства – сосновое и берёзовое – лицом к лицу, но хлынувшее из недр земли озеро разделило их, и теперь они смотрели друг на друга издалека.

* * *

Дорога петляла, расходясь позаросшими колеями в разные стороны.

Тридцать лет назад здесь добывали торф: должно быть, часть этих путей осталась с прежних времён. Но работы давным-давно были прекращены. Тяжёлые грузовые машины поразьехали отсюда, а потом, надорвав моторы, заржавели. Конторы, считавшие прибыль, обанкротились навсегда.

Мы шли уже третий час, а озера всё не было; но я не слишком устал, и ни о чём не думал.

Иногда Кай прибегал ко мне, чтоб я мог почесать ему шею, и, удовлетворённый, отправлялся дальше.

Жадность его к запахам ещё не хоженного леса была почти удовлетворена, и теперь он куда чаще не стелился мордой по земле, а держал голову высоко, выискивая какие-то иные, сложно различимые интонации и оттенки.

Он, в который раз заметил я восхищённо, был совершенен.

Как и вся природа вокруг, Кай был идеален сам по себе, ни для кого. Его безупречность была лишена тщеславия и свидетельствовала лишь о точности творенья.

Между тем, солнечный свет начал подтаивать, и я почувствовал признаки наступления вечера.

Дорогу преградило павшее дерево, растопырившее у основания обсохшие, совсем короткие корни. Глубоко увязшее в дороге своим сучьём, оно дало мне понять, что здесь давно никто не проезжал.

Чертыхаясь, не слишком ловко я проскочил между высохших кривых суков, всё равно зацепившись полрой куртки. Кай, не примеряясь, сделал следом легчайший, безупречный в исполнении прыжок, и потрусил дальше.

Та полянка, куда в стихийном круженье мы уткнулись с товарищами семь лет назад, никак не являлась мне.

«Дорога должна ведь привести куда-то...» – убеждал себя я, но тут же внутренне смеялся: большинство дорог в этом лесу, как тому и надлежало быть у русских людей, выглядели будто караули. Не стоило искать в них смысла – если он и был, то давно иссяк.

Лес стал безмолвен, и даже дятел не подавал о себе весть.

Дорогу перебежал ёжик.

Я окликнул Кая. Он охотно явился, но, быстро обнюхав свернувшегося ежа, сразу потерял к нему интерес.

«...ну, ещё один поворот», – предложил себе я в который уже раз, глядя на темнеющую дорогу.

«...ещё до того дерева», – подумал спустя полчаса.

«...за той развилкой точно будет наша полянка», – убеждал я себя снова, и даже произнёс вслух, втягивая густой воздух:

– Я даже слышу запах воды.

...Всякий раз я обманывался.

За очередным поворотом я всё слабей различал, что там впереди, и вместо обнадеживающих примет видел теперь лишь слабые силуэты то ли выползшего прямо на дорогу кустарника, то ли торчащей из мшистой земли бесприютной трёхрогой коряги, – но на поверку представлявшееся мне всегда оказывалось не тем.

– Кай, – вдруг оборвав свой ход, сказал я строго. – Пора домой. Дочка ждёт. Мы должны выпить с ней вечернего чая.

* * *

Обратная дорога по пути уже пройденному – всегда проще.

Всё, что казалось незнакомым, теперь выглядело уже привычным.

Кай, уяснив все лесные мелодии, теперь больше держался дороги, которая по пути сюда была ему неинтересна.

...Павшее дерево я уже перешагивал – вот и обратно перешагну, тем более что со второй попытки это получилось у меня куда ловчей.

К своим немалым уже годам ни разу нигде не заблудившись, я без особых сомнений мысленно проложил маршрут, который обещал сократить мне дорогу домой минимум вдвое, но, скорей, даже втрое.

Сосновый лес был редок и скуп на другие деревья, оттого казался проходимым, а идти по мхам мне показалось не меньшим удовольствием, чем по старым колеям.

Я даже предположил, к чьему примерно двору приведёт меня дорожка.

«К доброй бабушке Екатерине Елисеевне и двум её душевнобольным дочерям!» – чему-то улыбался я. То-то они удивятся, когда в сгустившейся уже темноте увидят, как из лесу к их дому выходит человек.

Я решительно свернул с дороги в лес.

Мхи оказались мягкими даже чересчур, что немного затрудняло движение: ставя ногу, я привычно рассчитывал на (пусть и относительную) устойчивость, но ступня вдруг уходила по щиколотку, и приходилось ловить руками колкие ветви, чтоб не упасть.

Заранее подбирая свободный, казалось бы, путь, я всё равно спустя минуту утыкался в огромное дерево, будто нарочно вышедшее мне навстречу. Казавшаяся прямой линия движения часто прерывалась и шла зигзагами.

В нашем лесу водились и волки, и кабаны, и медведи – но едва ли стоило кого-то опасаться, тем более в компании с Каем. Мы источали уверенность, и всякий зверь держался от нас подальше, даже если и возносил чуткую морду вверх, удивлённый нашим явлением. Вслушавшись и не найдя запахов железа, звери успокаивались и вскоре забывали о нас: эти двое шли себе мимо, в сторону деревни.

Разгорячившись и чуть взмокнув, я снял капюшон – и, хотя вернулись комары, мне нравилось тихое ощущение вечерней прохлады. Я двигался всё быстрее, и комары почти не настигали меня.

Почувствовав щекотку на бритой своей голове, я привычно хлопнул по макушке ладонью – и тут же догадался, что это не комар, а совсем иной формы, твёрдое на ощупь, как гречневая крупа, насекомое.

«Клещ, что ли...» – подумал я неприязненно, и поднёс в щепотке к самому лицу то, что безуспешно пытался раздавить. Разглядеть насекомое в наступившей полутьме не вышло, и я просто отбросил его в сторону щелчком пальца.

Мхи сменили заросли папоротников.

Мы шли теперь шумно – и отчего-то радовались этому шороху. Кай выглядел заинтересованным.

На голове я снова почувствовал насекомое. Повторно, хоть и не без брезгливости, поймал и приблизил к глазам.

«Лосиные блохи...» – догадался я, наконец.

Мы вышли с Каем на лосиную тропу – и угодили в засаду блох!

Другая блоха, пустив вослед за собой тончайшую липкую паутинку, в тот же миг угодила мне на раскрытую шею, и ещё одна – на лоб.

«Да чёрт бы вас побрал!» – выругался я, поспешно обираясь.

Вернул капюшон на голову; тем более что, едва я остановился, комаров стало в разы больше, и жадный гул их покрывал даже шум раздвигаемых папоротников.

Спустя минуту капюшон пришлось поспешно снимать, оттого что очередная блоха пыталась закрепиться за ухом, а другая уместилась во впадинке под самым горлом.

Почти непрестанно я слышал, как они продолжают со всех сторон падать на мою одежду.

Извлекая очередную провалившуюся до самого живота блоху, я кружился волчком; справившись, начал оглядываться – вспоминая, откуда шёл.

Да, оттуда.

И – туда.

Лес становился гуще, и, что было даже огорчительно, – овражистей.

Угодив в усыпанные сырою листвою углубления, я скользил и, выбираясь наверх, падал, отчего снова смеялся над собой – пока ещё весёлым смехом.

«Тем радостней будет возвращение и слаще чай», – говорил себе я, и верил своим словам.

Идти теперь приходилось куда медленней. Кай, заметил я, стал держаться ближе ко мне, хотя по-прежнему был невозмутим и деятелен.

На следующем участке лес шёл под откос – и я всё чаще ловил ветви, чтоб не слишком разбегаться в трудных местах; «...а то подломлю ногу, и буду как дурак ковылять потом до самого утра...»

Остановившись, я попробовал прислушаться: в деревне нашей почти непрерывно лаяли собаки; но комариный гул заглушал всё.

Неисчислимое комарье искало моего лица.

* * *

Вскоре лес в очередной раз сменил очертания – и на пути возникли огромные, почти до пояса, мясистые, неизвестные мне травы, а сосен, напротив, стало меньше.

Кай пересекал траву, как крупная рыба, – я видел только его спину.

Его нисколько не удивлял наш путь; он доверял мне.

Я шёл сквозь травы, едва касаясь их раскрытой ладонью, в другой же продолжал держать битый-перебитый букет.

Здесь перестала лепиться к лицу паутина лосиных блох; а о том, кто может таиться в этой траве, я не думал.

Змей у нас водилось предостаточно, но это ж надо было, чтоб судьба расстаралась и подгадала такую встречу; к тому же я был в плотных ботинках и в брюках из крепкой ткани.

– Ни добрые, ни злые люди, Кай, не ходили здесь очень давно, – поделился я громко. – Быть может, лет сто.

Кай мельком взглянул на меня, но, так как хвост его свисал вниз, я не увидел за травой, ответил ли он мне.

Густые травы постепенно сменил кустарник, и я убеждённо сказал себе, что знаю его на вид – те же дикие кусты росли за домом бабушки Екатерины Елисеевны.

«...остался последний рывок: ставь, дочка, чайник на плиту».

Кусты оказались упругими и привязчивыми. Раздвинуть их, чтоб сделать шаг, стоило некоторого труда.

В очередном поединке я бросил свой букет, и работал теперь уже двумя руками.

Потом, решив, что обходить эти кусты будет проще, я сдвигался то влево, то вправо. Кай тоже перебегал с места на место – он любил простор и полёт, а тут ему надо было подставлять бока и корябаться.

Усугубляло наше положение то, что в прогалах меж кустарником почва была кочковатой, как на болоте. И хотя земля между кочек не источала влагу, она всё равно была раздражающе мягкой – несколько раз я уходил вглубь по самое колено.

Некоторое время я перепрыгивал с кочки на кочку, уже не находя это смешным, но надеясь, что вскоре эту дурную местность сменит новая. Сердце уже тосковало по мшистым опушкам и зримому простору хотя б на дюжину уверенных шагов.

Однако кустарник становился всё гуще.

«Ничего, – повторял я себе. – Ничего... Скоро уже мелькнут меж кустов деревенские огоньки, и тогда...»

Обходить кустарник не было уже никакой возможности: он рос повсюду.

Я продирался сквозь него.

Сначала с ощущением упрямой убеждённости.

Затем с чувством порывистой ярости.

Понемногу оно сменялось остервенелым отчаяньем.

Кай, не порываясь искать путей самостоятельно, дожидался, пока я выломаю прогал, и поспешно продвигался вслед за мной, изгибаясь белым гибким телом.

Кустарник тут же смыкался за нами.

Я был всерьёз обозлён – но не ругался вслух, сберегая силы и бешенство.

Однако то, что казалось мне густым кустарником ещё минутой ранее, вскоре таковым уже считаться не могло. Если десять шагов назад мне приходилось выламывать суставы мсти-

тельным ветвям, чтоб сделать рывок вперёд, – то теперь я, опутанный несчётным количеством древесной поросли, росшей словно бы ниоткуда и сразу везде, предпринимал настоящие усилия, чтобы просто сдвинуться.

Это была недвижимая, навек застывшая и вместе с тем буйная древесная суматоха, пытающаяся меня спеленать и укротить.

Я раскачивался в этой паутине, выискивая её слабое место.

Влево!.. Вперёд!.. Вправо!.. Влево!.. Вперёд!..

– Зачем они так растут?.. Куда?.. – в сердцах воскликнул я, поймав себя на том, что голос мой прозвучал не победительно, а жалобно.

Наконец, я понял, что податливых мест впереди – не осталось.

Совершенно ослабив ноги, я без труда повис на обнимающих меня мягких сучьях и многочисленных побегах.

Оглянувшись назад, я увидел, что пройденный нами путь наглухо скрыт.

Преодоленные нами ветви не просто вернулись в привычное им положение, но стремительно, пуще прежнего, переплелись и намертво склеились.

Даже звери сюда не ходили. Ты-то куда залез, человек?

* * *

Дебрь!

Я вспомнил слово, которое ещё час назад не означало для меня ничего.

И вот я встретился с ней, и забрался в неё.

На небе ещё теплился предзакатный последний свет, но вокруг меня лежала испещрённая чёрной вязью безропотная тьма.

«Что ж, как забрался сюда, так и выбирайся», – велел я себе.

Рванул напролом в обратный путь. Распахал щёку веткой, но даже не стал отирать кровь, с каким-то тихим наслаждением чувствуя её потёки. Шепча ругательства, гнул ветви, продолжая свой бесноватый танец.

Меня удерживали за руки. Вязали каждый мой шаг. Спутывали колени. Коротко и зло били по спине и под рёбра. А потом ещё, с оттягом, по затылку.

Но ничего, кроме собственной глупости, обидным мне уже не казалось.

С трудом различая туманистый, кисло светящийся прогал, с утроенной силой я проламывался к нему.

Что угодно: огромные, как шкура подземного зверя, мхи, самые хищные и высокие травы, папоротники, достающие мне хоть до подбородка, – только бы не эта дебрь, дебрь, дебрь.

Почти уже рыча, я вывалился из плена.

Как же обрадовался теперь я этим кочкам, никак не сравнимым с тем бешеным хитросплетеньем, откуда я только что, не чая спасения, выбрался.

С кочки на кочку я поспешил – а бесконечно верящий мне Кай следом – к открытому пространству, которое пусть и непонятно куда вело, но привлекало хотя бы своей чистотой и открытостью.

...Мы одновременно рухнули в чёрную жижу.

Я, тяжёлый, по самый пояс, а Кай, сноровистый и ловкий, только передними лапами. Вывернувшись всем телом, он тут же извлёк себя и вернулся на твёрдую поверхность. Даже в полутьме я разглядел чёрные гольфы, появившиеся на нём.

Без особых усилий, в приступе невероятной брезгливости вытягивая себя, уцепившись руками за ветви, выбрался и я.

...Сырой, грязный дурак, угодивший в торфяное озеро, – я, будто горячую, сбивал, ска-
тывал со своих ног ослизлую грязь и полуистлевшие растения. Всего этого на мне оказалось
удивительно много.

Ботинки были полны грязью и хлюпающей водой.

Чавкая, я побрёл в обратную сторону – туда, где меж кочками пышно цвели мхи и рас-
ползался мелкий кустарник, самым своим видом говоривший о том, что под ним хотя бы име-
ется почва.

Присев на кочку, я снял ботинки, а затем и носки.

Выжав носки, положил их, разгладив, себе за шиворот, чтобы хоть немного высушить.

Вылил из ботинок жижу, а затем выскреб их руками и протёр нарванной тут же травой.

Лицо моё было в грязи и подсохшей крови.

– Кай! – позвал я спустя три минуты.

Он спокойно подошёл ко мне.

– Сидеть, – сказал я без нажима: просто шёпотом уронил слово.

Он сел.

– Дай лапу, – попросил я.

Он протянул лапу.

– Дай другую.

Он перебрал ногами, словно выбирая, какая из лап – другая, и выбрал верную.

Мир встал на место.

Кая не смущали ни темнота, ни наше здесь нахождение.

Ни тем более размышленья о том, зачем ему подавать лапу хозяину, пахнущему потом
и тиной, облепленному комарами, которых он уже не бил, а время от времени просто стирал
ленивым движением, убивая сразу земляничную дюжину их.

Просить Кая найти наш дом не имело ни малейшего смысла: пока хозяин рядом, пёс
доверяет выбор пути ему.

Если б я вдруг исчез – в нём, спустя некоторое время, сработала бы древняя животная
сила. Доверяясь только своему чутью, делая странные, но неизбежно ведущие к цели круги, к
утру он оказался бы возле наших ворот, и улёгся бы там, смирно дожидаясь, когда откроют.

С рассветом, чуть виноватясь, он заскочил бы в открытую дверь, а на вопрос – где этот,
который был с тобой, – взмахнул бы хвостом.

«Не знаю, где. Я остался один».

* * *

Надо было возвращаться назад к той дороге, по которой мы шли в поисках озера.

Достаточно покружив, я всё равно верил, что помню сторону, откуда явился.

При всём желании я не смог бы здесь заблудиться насмерть – даже ухитрившись миновать
исконную лесную дорогу. Спустя несколько часов, ну, в крайнем случае на рассвете, я бы всё
равно вышел к реке, и вернулся б домой по руслу, исхоженному мной неоднократно.

Но сама эта история стыдила меня.

Если я не явлюсь вовремя, дочь, зная, что мы с Каем ушли в лес, начнёт волноваться.
В полночь или чуть позже она пойдёт к соседям, и скажет, что пропал отец.

Люди у нас живут дельные, не склонные к сантиментам: они только пожмут плечами –
чужак-человек, одна колгота с ним...

Выйти в ночи на крики и огни соседей, размахивающих фонарями: что могло быть уни-
зительней!

...Двигаясь в окончательно сгустившейся темноте, я возвращал себе те пространства, что
уже миновал. Вот огромная трава, сквозь которую я шёл, как через воду; Кай всё так же легко

струился в этой траве. Вот трава закончилась и начался папоротник. И редкие сосны, стоящие посреди папоротника. Следом вернулся сосновый лес.

Понуро я шёл и шёл, доверяясь уже только интуиции и не видя почти ничего, кроме чёрных остовов деревьев.

Дороги всё не было.

Неверными, косными движениями я снимал с головы лосиных блох и думал о себе плохо.

Я зря поверил своему чутью.

Я шёл куда-то не туда.

Подняв глаза к небу, полному звёзд, я долго смотрел вверх: словно искал там подсказку.

Кай подошёл ко мне и почесался своей прекрасной длинной мордой о моё бедро. Спина собаки была сырая и тёплая.

Бездна над нами переливалась и мягко дрожала.

Вдруг осенённый, я понял, отчего здесь рушились огромные деревья, а бури никто и никогда не заставлял.

Битва происходила под землёй! Там бурлили неразличимые для нас страсти, обрубающие корни вековыми соснам и надламывающие такую мощь, что могла бы простоять ещё многие века.

Это явленное мне ночное знание никак не могло помочь в поиске пути – зато я остро осознал, что стою на тонкой корке земли, под которой творится неслыханное.

В недрах её никогда не прекращается борение. Гниют корни тысячелетней длины. Сквозь прах и костную муку всех истлевших звериных пород пробивают дороги чёрные воды. В эти воды обваливаются новые кости. Разбухая, кости чернеют, пожирая воду. Вода сама обращается в тлен.

Сосны, что столпились на берегу озера, до которого я так и не дошёл, тянутся змеиными корнями под озёрной водой, под самым дном – к другой стороне. А та сторона затейливо вьётся берёзовыми корнями, пробиваясь к сосновому чёрному берегу. В исподней тьме корни стремятся друг к другу, прорастая всё дальше, и слыша – слухом, неведомым для нас, – неукротимое встречное движение. Однажды они встретятся – и посреди озера взвьётся чудовищный клубок, а по берегам, с левой стороны и правой, вдруг начнут валиться он неслыханного напряжения деревья.

– Лес, – сказал я внятно. – Хватит меня морочить. Не нужно мне твоё озеро. Я хочу к дочке.

Оглядевшись, я вдруг различил слева старую, сделанную много лет назад просеку.

Взвихрённый чувством, которое могло бы показаться паникой, рискуя, споткнувшись, сломать себе что-нибудь, – я побежал.

Кай припустил за мной, радостный любым затеям.

Через три минуты я оказался на дороге.

Это была не та дорога, по которой мы шли к озеру, – но сама её колея вызвала во мне тихое сердечное озарение. Дорога словно бы млечно светилась, хотя была черна.

Осталось догадаться, в какую сторону пойти, чтоб явиться всё-таки к дому, а не в очередной лесной тупик.

Я выбрал идти направо. Кай, обрадованный тем, что путь свободен, и больше не нужно лазить по кустам, поспешил впереди меня.

Дорога раздвоилась, и я снова выбрал правую сторону.

Вскоре мы оказались у перекрывшего дорогу дерева, возле которого несколько часов назад я решил скоротать путь к дому.

Получилось хотя бы не обмануться в поиске обратного пути к той точке, где была совершена ошибка. Чаще всего в человеческой жизни и это уже невозможно.

* * *

Тринадцатилетняя, старшая дочь ждала меня на кухне.

Последние часы она беспокоилась обо мне, но, когда я вошёл, не подала виду.

Половецкое, скуластое лицо её казалось непроницаемым и чуть, на самом дне, насмешливым: там таилась сила будущей жены и матери, способной дожидаться и время от времени прощать блудных мужчин, будь то муж или сын.

Развешивая мокрые вещи и собирая на себе лосиных блох, я нарочито громко делился с дочерью:

– Хотел дойти к озеру, знаешь. Однажды мы были там с товарищами, и я запомнил его. Всё мечтал туда вернуться. Но поздно вышел из дома – и не успел.

– А что Кай?

– Кай бесподобен. Обожаю его. Но озера мы не нашли.

– Я знаю дорогу, – сказала дочь спокойно. – Я покажу тебе завтра, если хочешь.

– Правда? Оно запомнилось мне очень большим. И там с одной стороны берега – сосны, а с другой...

– А с другой – берёзы, – закончила дочь, тихо засмеявшись. – Да.

– И оно совсем мелкое? Пацаны, помню, всё шли и шли, и...

– Озеро – глубокое. И очень холодное, – сказала дочь, разливая чай. – Там никто никогда не купается.

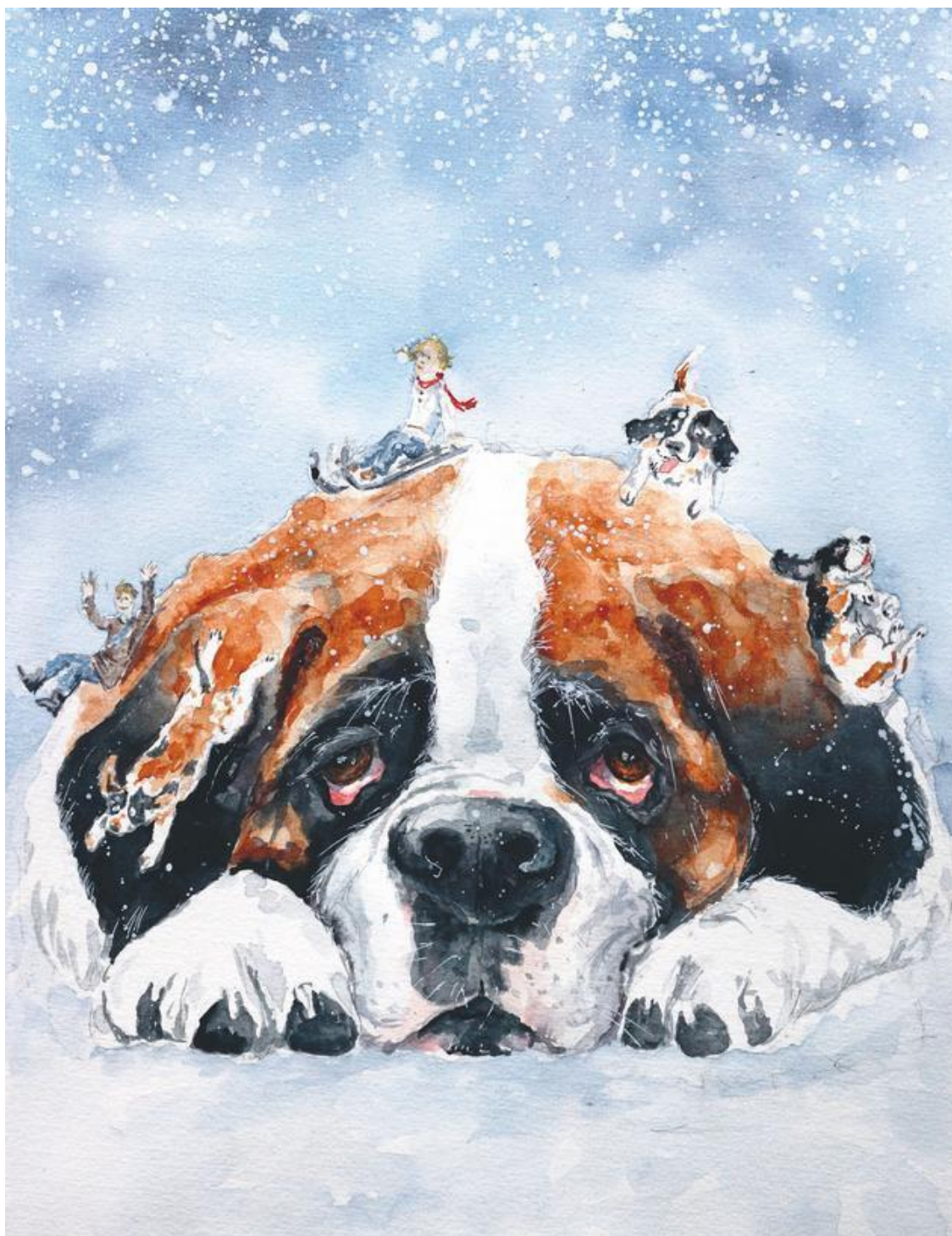
Она выставила на стол две тёмные чашки.

Чай, мягко раскачиваясь, отражал свет настольной лампы.

– Я с шишками тебе сделала, – сказала она. – Сосновыми.









Грехопаденье Шмеля

Шмель нам сразу достался бракованным.

Продавцы сказали: у вашего мальчика нет одного яичка, зато в остальном он всем хорош, – так что берите за полцены.

Нам и полцены по тем временам было – как месячный прокорм на всю семью. Но что за жизнь без собаки? Да и жизнь ли это.

Шмель вырастал стремительно.

Он спал в прихожей, чутко прислушиваясь: а не проснулись ли хозяева.

Начиная с шести утра он различал в другой комнате даже тишайший, на ухо, шёпот – и, с нескольких попыток вышибив лбом тяжёлую, крепко прикрытую деревянную дверь нараспашку, мчался к людям.

Пока был совсем щенком, его хватало только на то, чтоб уложить восторженную голову на край дивана: ну же, гладьте меня, затаскивайте меня к себе в одеялы, тискайте!

Но спустя совсем короткое время он подрос до той степени, чтоб закидывать на диван передние лапы. Бешено скользя по полу задними, словно под ним подгорал пол, он безрезультатно пытался забраться весь.

Минул месяц – и вот он уже забрасывал половину мощного тела без особых усилий, а затем, слегка поелозив, оказывался на диване целиком, тесня спящих людей.

Но и то пределом не оказалось.

Однажды случился тот день, когда дверь он открыл уже не с разбега, но легко толкнув могучим плечом, после чего царственно, без малейших усилий, взошёл на диван, улёгшись ровно поперёк хозяев, никак не сообразуясь с их на то желанием.

Даже выбраться из-под него было нешуточной задачей.

День ото дня Шмель становился всё огромней, но мы ещё не знали, до каких он дойдёт степеней.

Решив разделить наше восхищенье собственной собакой с остальным миром, мы отправились на соревнования сенбернаров.

Высокие и огромные залы кинологического центра встретили нас огнями и шумом.

По громкой связи звучали объявления. Отовсюду раздавался лай. Хозяева непрерывно отдавали своим собакам команды.

Проходя меж десятков представителей той же сенбернаровой породы, мы посмеивались: Шмель превосходил их зримо, очевидно, безоговорочно.

Однако победительная наша, хоть и затаённая, спесь была немедленно посрамлена.

На первом же осмотре – медицинском – ему отказали в участии.

– Среди сенбернаров, – пояснили нам, словно извиняясь, – он непростительный переросток. Мы не вправе допустить вашего пса даже к выставке: он превышает самые крупные образцы породы на тридцать сантиметров.

– Что за неудача с тобой, Шмель? – в шутку, но при том искренне огорчённая, пожаловалась жена. – И яичка у тебя нет, и рост твой неподходящий...

– Мадам желает, чтоб её собака имела три яичка? – спросил второй, до сих пор мрачно молчавший специалист, ставя в своём пухлом журнале неразборчивые пометки.

– Как? – не поняла жена.

– Я осмотрел вашего кобеля. Он безупречен во всех смыслах, – сказал специалист.

Так мы узнали, что Шmeliное яичко – выкатилось, и это послужило нам утешеньем.

Я подмигнул зашедшему вослед за нами зарубежному гостю – судя по всему, немцу, который торжественно вёл свою собаку, вырожденца с тупым взглядом и головой, напоминавшей германскую солдатскую каску.

– Не судьба, – сказала жена шёпотом сама себе. – Возвращаемся в лес.

Спустя три минуты нас, уже покидавших сияющие выставочные пространства, догнали представители всё той же немецкой делегации в сопровождении сорванных с какой-то другой встречи и оттого чуть переполошённых переводчиков.

– Господа из Германии хотят купить вашу собаку, – сообщил, отдуваясь и стоя на всякий случай подальше от Шмеля, один из переводчиков, переводя глаза с нас на пса, а затем на второго переводчика, который в свою очередь давал пояснения кивающему немцу.

– Ну ещё бы, – сказала жена, улыбаясь. – Но нет.

– Господа из Германии готовы обсудить ваши предложения, – тут же вступил в разговор второй.

Я поднял обе руки с раскрытыми ладонями и взмахнул ими, словно бы рисуя крест: извините, но мы не в силах вам помочь.

Тогда в дело вступил сам немец – и внятно, причём по-русски, произнёс цифру, превышающую стоимость нашей городской квартиры.

Шмель вскинул на него ленивые глаза.

– Дружьями не торгуем, – произнёс я немцу так же внятно и, для понимания, по слогам.

Жест, который почти неосмысленно я хотел показать при этом немцу, уловила жена – и прервала его, поймав меня за левую руку, готовившуюся как бы отрубить правую по локоть.

* * *

В деревне нашей сенбернаров не водилось, да и в ближайших городах их держали настолько редко, что за многие годы с тех пор мы так и не встретили ему подобных.

Шмелю шёл уже шестой год, но – перешагнувшему собачье сорокалетие – псу оставались неведомы любовные страсти.

Он был невинен во всех смыслах до такой степени, что даже лаял крайне редко, словно бы не понимая, зачем это ему.

Его не интересовали коты.

На других собак, пытавшихся его облаять, он смотрел долгим недвижимым взглядом, никак не умея разрешить для себя вопрос, в чём тут всё-таки дело.

Как-то, выйдя во двор, я застал Шмеля во всём его серафимоподобном благолепии: из таза, куда мы слили ему остатки молока, пил огромный и толстый уж, а возле клевали недоёденный куриный ошкуроч сороки.

Шмель смотрел на птиц и змею из-под усталых век, лениясь поднять голову.

Даже оголодавший, он не был злобно жаден до еды, а уж сытый тем более делился со всеми, кто мог дотянуться.

При моём появлении сороки, предприняв тщетную попытку унести ошкуроч, улетели, а следом и отяжелевший уж прополз мимо морды Шмеля в свою щель за конурой.

– Эх, Шмель... – только и сказал я.

...В другой раз кто-то из домашних забыл прикрыть дверь во двор, и к нам забежала соседская собака, кудрявая сука неизвестной мне породы, принадлежавшая вышедшему на пенсию прокурору.

Собаку эту он выпускал гулять на весь день, и она промышляла чем хотела.

Шмель не слишком заинтересовался её приходом – хотя обязан был, как нам думалось, присматривать за собственным участком.

Гостя обладала сметливым умом: сначала она долго жрала из поваленного набок мешка собачий корм – но когда поняла, что весь его съесть не сможет, решила унести.

Она выволокла тяжёлый мешок со двора! Она протащила его метров тридцать!

Выйдя из дома, я увидел дорожку из рассыпанного корма, и, озадаченный, двинулся вослед.

Но даже при виде человека сука не отчаялась – а, напротив, собравшись с силами, решила в один заход дотащить добычу, пока её не успели настигнуть. Вцепившись зубами в край мешка, пятясь и глядя при этом на меня презирающими глазами, она ещё быстрее потянула добычу.

Я опешил от этой наглости. Схватив первую попавшуюся палку, рванул за ней, крича что-то несусветное.

Когда, спустя минуту – и еле справляясь: в мешке было под тридцать килограмм – я затягивал корм во двор, Шмель встретил меня слабым помахиванием хвоста.

«Пришёл? – как бы спросил он. – Ну хорошо. А то я волновался...»

...Летом на пляже Шмель возлежал без поводка, и деревенским купальщикам в голову не приходило его бояться.

Он размахивал хвостом всякому встречному, как Франциск Ассизский. Больных и калечных, престарелых и неухоженных он обожал так же, как и здоровых, не различая в любви своей никого, и деля её поровну.

...Однажды явившийся в наш дом с целью возведения ряда пристроев грузинский строитель Виталий не сводил со Шмеля миндалевидных чёрных глаз: как вскоре выяснилось, он был обладателем сенбернарихи.

Виталий показывал нам её снимки, и так часто цокал языком, что отзывались лесные птицы. Ещё, казалось, мгновение – и сам Виталий запоёт птицей.

Цветная рубашка Виталия обычно была расстёгнута сверху на шесть примерно пуговиц, но говоря о сенбернарихе, он начинал застёгиваться, словно вот-вот должна была появиться его жена. Потом, не замечая, он расстёгивался снова, потому что сердце его слишком колотилось.

Ему незачем было нас уговаривать! Мы сразу оказались согласны.

В тот заветный день, когда чёрный джип Виталия доставил течную невесту, я был в отъезде, и о случившемся узнал по рассказам.

Шмель был взволнован.

Сенбернариха оказалась ему под стать: пышных форм и тоже с некоторым превышением нормы роста.

Шмель так перенервничал, что в первый день не смог. Но во второй собрался – и всё получилось.

Виталий стоял за углом, совсем тихо цокая языком и качая головой.

...С того дня Шмель стал другим.

Поначалу мы не знали об этом; и сам он тоже не догадывался.

* * *

Виталия мы больше не видели, но не слишком печалились о том.

Кажется, и Шмель позабыл о своей мимолётной подруге.

Однако в голове его случилось необратимое: он стал отцом. Так он думал о себе, даже не увидев своих детей. Любовь его к миру не иссякла, но ответственность за ближних приобрела иные качества.

...Привычно неопрятной в наших краях весной, по грязному снегу, мы возвращались из леса с прогулки. Хотя свёрнутый поводок всегда лежал у меня в кармане куртки, я редко цеплял его за ошейник – в минувшие пять лет стало очевидным, что пёс не причинит никому вреда.

От леса до нашего двора было совсем близко – всего лишь миновать надёжно закрытый от любых досужих глаз дом нашего соседа, охотника и рыболова Никанора Никифоровича.

Но нынче случилось из ряда вон выходящее: Никанор Никифорович оставил приоткрытой дверь на свой двор. Едва мы с этой дверью поравнялись, оттуда, как из засады, вылетела в нашу сторону его охотничья собака – бело-рыжая легавая.

До сих пор я видел её только из окна второго этажа нашего дома – когда Никанор Никифорович выпускал свою собаку из клетки, чтобы погуляла по участку.

Шмель же встретился с ней впервые.

...Всё длилось не более трёх мгновений.

Шмель, который только что был возле меня, совершил стремительный бросок. Собаки с глухим ударом сшиблись – и тут же стало ясно, что легавая безоговорочно побеждена.

Она взвизгнула и, убегая, ударилась о крытую железным листом дверь, из которой только что выбежала. Раздался грохот: к несчастью для легавой, дверь открывалась наружу. Легавая отлетела прочь, и Шмель был уже готов броситься ей на хребет. Однако, срикошетив от удара, дверь чуть приоткрылась, и это спасло легавую: изогнувшись, она ворвалась в образовавшуюся щель на свой участок.

Несомая инерцией своего веса, дверь снова мягко прикрылась.

Я ничего не успел предпринять, и очнулся, только увидев Шмеля у этой закрытой двери: собранного, но взъярённого.

На снегу виднелись кровавые следы.

Я бросился к Шмелю – и, второпях осмотрев его, понял: это была не его кровь. Схватив пса за ошейник, поволок его домой, приговаривая:

– Шмель, как же так... А вдруг бы ты убил её...

Достаточно отойдя, я оглянулся: двор Никанора Никифоровича безмолвствовал. Легавая молча претерпевала боль и поражение.

Усадив Шмеля на крыльце своего дома, я осмотрел его как следует.

Широкая белая грудь, мощные бело-рыжие лапы, рыжая спина. Трёхцветная морда: белые щёки, чёрные подглазья, рыжий лоб.

– Шмель, – повторял я шёпотом. – Ты что?.. Ты что делаешь?.. Ты же целую жизнь никого не обижал!

Шерсть на его загривке уже спала. Выглядел он обычно и даже, показалось, рассеянно.

В семье мы решили, что произошла случайность. Однако впредь договорились быть предусмотрительней. С тех пор мы водили Шмеля по деревне в строгом ошейнике и на поводке.

Он, как и прежде, радовался людям и был приветлив со всеми.

Но всё-таки мы обманывались.

* * *

Тем летом, чтоб не докучать любвеобилием Шмеля людям, пришедшим на реку, мы уходили купаться то вверх, то вниз по руслу – подальше ото всех.

Время от времени вниз по течению шли байдарки.

Люди сплавлялись целыми разновозрастными компаниями, порой – семьями, случалось – ватагой бодрых, хоть и с лёгкого похмельного недосыпа мужиков.

Голоса их были слышны издали: вода доносила беззаботные крики.

Это было отдельной забавой: поднимать Шмеля им навстречу.

– Шмель! Шмель... – шёпотом тормозили мы его, ленивого от жары. – Вставай! Кто там, Шмель? Чужие, Шмель!

Наконец, он начинал шевелить ушами, медленно выбираясь из своей дремоты – словно из-под камней. Посторонние звуки и незнакомые голоса достигали его очнувшегося сознания.

Он грозно поднимался и неспешным тяжёлым шагом двигался к воде. Это выглядело пугающе и величественно.

Из-за поворота выплывала первая байдарка – и вскоре раздавался неизбежный вскрик: восхищения или лёгкого, хоть и с примесью всё того же восхищения, ужаса.

– Ох! Господи! Посмотрите!

Мы знали, что он не бросится в реку: Шмель не любил купаться – ему было тяжело сплавлять своё огромное тело.

Но ради речных путешественников он делал исключение. Дождавшись, когда байдарка опасно подходила к месту нашего лежища, Шмель вдруг совершал необычайно убедительный заход в реку.

– Собака не перевернёт нас? – спрашивали люди, суется с вёслами.

Едва вода начинала касаться его вспенившихся на жаре брылей, Шмель как бы нехотя останавливался.

– Надеюсь, сегодня – нет... – отвечал я задумчиво, измеряя взглядом расстояние до лодки.

Памятуя о положенной ему роли, на реке Шмель никогда не выказывал к людям дружелюбия. Впрочем, не рычал, и тем более не лаял. Ему было достаточно явить себя.

– Здесь что, есть деревня? – спрашивали нас, чуть отплыв.

– Нет, только старое кладбище, – отвечал я бесстрастно.

Когда лодка удалялась, Шмель, разгоняя телом волны, возвращался на сушу и, двигаясь тяжёлой трусой, мрачно сопровождал путешественников до ближайшего поворота.

Никто и никогда не решался выйти к нам на берег.

Порой у нас напоследок интересовались, куда мы прячем лодки тех, кого это чудовище всё-таки утопило.

...Мы ловили тепло, пока солнце не скроется за лесом, и только затем начинали собираться.

В тот раз мы шли к дому всей своей немалой семьёй.

В левой руке я держал маленькую ладошку младшей дочери, предупреждая её о всех превратностях лесной тропки, а в правой, накрутив на запястье, – поводок Шмеля.

Оставив в стороне пляж, где плескались деревенские жители и понаехавшие к ним гости, мы повернули к своему, ближайшему у реки, двору. До него оставалась минута пути.

Навстречу нам вышел голый по пояс, заметно хмельной, в бодром расположении духа мужчина. Поодаль кружила его собака – весёлая крупная лайка. Она была возбуждена новым местом, людскими криками, близостью реки. Стремительно перебегала от помеченного ещё с утра Шмелём придорожного дерева – к нашему забору, от забора – к большому придорожному камню.

Шмель не выказал никакого волнения, не натянул поводка, – но я всё равно остановился и приказал ему сесть.

– Будьте добры, – попросил я издали незнакомого мне хозяина лайки. – Возьмите, пожалуйста, вашу собаку на поводок!

Мужчина сделал легкомысленный взмах рукой, означавший: это всё пустое.

Едва ли он хотел оскорбить нас. Просто у него было отличное настроение.

Шмель так и остался бы сидеть – но, увидев его, лайка тут же бросилась к нам.

Я поспешно подхватил дочку на руки и одновременно сбросил с запястья поводок, крепко взяв Шмеля за строгий ошейник. Стальные стержни ошейника вдавились ему в горло, чтоб он не задумал ничего такого...

Легчайшим, без малейшего усилия движением Шмель высвободился из моих крепко сжатых пальцев так, словно бы его держал не сорокалетний мужчина, который отжимается по утрам сто пятьдесят раз, а его крохотная дочка.

Лайка была гораздо меньше Шмеля, но с этой необычайно ловкой собакой охотятся на медведя: она бесстрашна и знает, что такое смертная драка.

Они бросились друг на друга и сразу сцепились всерьёз. Оцепенели даже люди у реки: всё стихло. Хозяин лайки застыл в ошарашенной позе.

У меня в руках была дочь, и я не мог её оставить.

Скорость движения псов была необъяснимой: ударившись оземь, они тут же, скрутившись в жгут, вознеслись в человеческий рост. Раскручиваясь обратно, сделали в июльском прожаренном воздухе несколько оборотов. Перекатились клубком – в котором невозможно было разобрать лап, хвостов, тел – сначала в одну, затем в обратную сторону. На миг отпрянули, с разгона сшиблись снова – но в этот раз лайка была отброшена назад с такой силой, словно её ударили в грудь железным ковшом.

Она упала замертво.

Я был уверен, что собаке пришёл конец.

Шмель бросился к ней – и та, вдруг ожив, кинулась спасаться.

...Глядя на это, возможно стало осознать, как убегают люди с поля боя: когда вмиг надламываются стать и сила, и не остаётся никакого выбора, кроме бегства...

Шмель, никогда не отличавшийся скоростью, тут в три огромных прыжка нагнал бегущую лайку и подмял её под себя.

Стоя четырьмя своими львиными лапами так, чтоб лайка не могла вывернуться из-под него, и придавив её грудью, он вознёс вверх свою огромную башку – и вдруг издал поразительной мощи, длинный рык.

Он славил свою победу! Он предвещал гибель побеждённому!

...Первой очнулась жена. Она подбежала к собакам и, понимая, что уже пошёл обратный отсчёт, сделала единственно верное: схватив Шмеля за хвост, резко рванула на себя. Он извернулся с ужасным оскалом, чтоб наказать того, кто посмел ему помешать, – и всякий наблюдавший был в тот миг уверен: сейчас он перекусит её надвое.

...Шмель успел понять, кто это. Человек, кормивший его с мягких рук и безжалостно обучавший первым командам. Зубы пса клацнули по воздуху впустую.

Этой заминки хватило на то, чтоб лайка вывернулась из-под Шмеля и, с удивительной силой верёвца, скатилась в ближайший овраг.

Всё время, пока мы поспешно затаскивали Шмеля во двор, а следом заводили детей, собачий вопль не прекращался.

Истошно крича, лайка уходила всё дальше в лес, распугивая всё живое на своём пути. Если зверю с грудной клеткой, способной извлекать звуки, слышимые на много вёрст вокруг, доставили такую боль – какой же величины пасть и зубы у того, кто сделал это.

* * *

Новозаветный Шмель, ненаглядный наш! – плакал я всем сердцем.

Горячая июльская морда, источающая пастью жар жизни, как поданное зимнему путнику жаркое. Что стряслось, Шмель, что случилось?

Многие годы тебя возможно было обнимать, не предполагая обид и подвоха.

Что за тайная молния воссоединила твоё знание о любви и возможности потомства – с великим негодованием о всяком возможном зле?

Пока ты рос, взрастали и наши дети.

Все они лежали у твоей груди, будто у тёплой горы. Слушали твоё, мягкое к людям, как творог, и сильное, как горное течение, сердце.

Голосили тебе на все голоса в уши. Дули в огромный нос. Но ты всё сносил. И мёл хвостом так часто, что вымел бы начисто дорогу отсюда и до альпийских гор, откуда ты, говорят, родом.

Коты спали в твоей конуре. Ползучие гады могли пригреться под твоим животом, приводя выводок змеёнышей и не пугаясь, что ты передавишь их.

Собаки ели из твоего таза, не испрашивая разрешения, – и уходили, не благодаря, раздутые в боках и будучи не в силах облизать даже свои сальные морды.

Лошади склоняли к тебе нежные головы.

Коровы не опасались тебя, даже видя, что радость твоя от встречи с ними – чрезмерна.

И теперь ты рассеял все стада и стаи.

И птицы стали пугаться тебя не меньше, чем человека.

И змеи смотрят издали на не допитое тобой молоко.

Умер ли ты в день грехопадения – или, напротив, был рождён для иной, новой жизни?

И если твоё преображение случилось во славу новой жизни – как же так вышло, что ты обратился духом своим во времена ветхозаветные, где месть была законной, а убийство – приемлемым?

Той несчастной лайке ты, как мы узнали после, раскромсал ногу и сломал два ребра, не считая бесчисленных рваных ран на её теле. Раны те хотя бы объяснимы – но как же ты поломал ей рёбра? Разве для того ты был рождён, чтобы калечить чужую плоть?

Мы думали, что предназначенье твоё – мести хвостом дорогу к альпийским горам.

Скорбные вопросы, Шмель. Ах, отчего ты даже ухом не ведёшь.

...Шмель спал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.